

Леонид Бещин

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ В  
ВОЗРАСТЕ ТОЛСТОГО

У матери Анюты, святой по своей простоте и наивности (Анюта пошла в нее), имени словно и не было, а отчество было — Борисовна. Но все звали ее — Бирюлевна, поскольку она прожила в Бирюлеве всю жизнь. На фотографиях из альбома сохранился бревенчатый домик с яблоневым садом, колодцем и погребом. В погребе держали квашеную капусту — заплесневелую бочку с гнетом-булыжником на перевернутой тарелке. За садом до самого забора тянулись образцово ухоженные (каждый комочек земли раздроблен, измельчен и растерт в пыль) грядки.

Там она и родилась. Родилась не на грядке, конечно, хотя так любила про них без конца причитать и твердить, что некоторые шутники утверждали, будто ее там и нашли, в капусте, среди вызревающих кочанов.

Бирюлевна не обижалась, губы не поджимала: уж очень мил и дорог ей казался этот дом — единственный, где она была счастлива. И как она горевала, когда его пустили под нож бульдозера, ее же с мужем переселили сначала во временный барак, где чадили примуса на прокопченной кухне и ревела вода в ржавом унитазе. А затем осчастливили — дали квартиру на последнем этаже четырнадцатизэтажной башни, где и родилась Анюта.

Бревенчатого домика Анюта уже не застала — знала его только по фотографиям и рассказам матери о том, какая там была клубника, какая черная смородина, малина и, конечно, яблоки, антоновка и белый налив. Этот белый налив ей часто снился: мать и отец в него что-то наливали, и он набухал, распираемый изнутри, и из красного становился белым.

Из-за этих снов во дворе ее прозвали Наливайка или Заливайка. Но затем у нее появилось новое прозвище — Панама или Анапа, поскольку Анюта на голубом глазу всем врала (заливала), будто ее возили в Анапу и там купили ей белую панаму. Хотя в Анапе никогда не была и панам отродясь не носила.

Из этого напрашивается вывод, что наш рассказ об Анапе или на худой конец о Бирюлеве, но это не так. Такой вывод был бы поспешным и преждевременным, поскольку Анюту всегда угнетала (бульжник на перевернутой тарелке) возможность всю жизнь прожить в Бирюлеве. Ее широко раскрытые голубые, обведенные синькой глаза под вытравленной перекисью белобрысой челкой, ее унаследованная от матери святая простота и наивность жаждали чего-то иного.

Хотя бы той же Анапы, где все носят белые панамы.

Да и что Анапа! И помимо Анапы есть места, способные утолить наивную и святую жажду и стать украшением любого рассказа.

I

В марте, как весеннее солнышко, просиял вызов: наконец получила, а вместе с ним — всяческие заверения, ручательства и уведомления. Список на полторы страницы. Обещали всякой мелочью не нагружать, беречь и чуть ли не на руках носить, такие шутники, хозяин Дарио и его домочадцы из благословенного городка Ластра (так, кажется), что под Флоренцией.

Впрочем, и их настойчивое желание заполучить Анюту можно понять. С их полоумной бабулей Кармиллой она им позарез нужна. Итальянки грязной работы гнушаются, за больными ухаживать — брезгают: не по их запросам и темпераменту. Европа себя блюдет, мараться не желает. Поэтому ей без прислуги не обойтись, а где ее взять?

Вот и остается Россия или, иными словами, — Анюта, именно такая, как есть, молодая, на все готовая, расторопная, беззлобная и бесхитростная.

За одно дело возьмется, а десять попутно своротит — Анюта Скобелева, восемь классов образования, полтора года послушания в монастыре (на самых тяжелых работах), куда ее занесло после смерти матери, две прерванных беременности и курсы мозольных операторов.

Правда, итальянскому в детстве забыли научить. Но итальянский — штука наживная. Как-нибудь одолеет, приноровится, поднахватается — это не комочки на грядках мельчить. Да и в семье Дарио русский в ходу — все, кроме старухи Кармиллы, по два-три слова сказать сумеют, а Дарио, университетский монстр, — тот и все десять.

II

Подружки завидовали, млели, глаза закатывали. Между собой шушукались и вздыхали: повезло же — Италия! Там весна не такая, как у них в Бирюлеве: солнце в полнеба — оранжевый апельсин с серпантинном срезанной кожуры, — и море до самых облаков. Зимы же и такого безобразия, как снег, и вовсе нет — только легкий туман переходит в изморось, а клубящаяся изморось оборачивается лиловой дымкой, стелющейся по зеркальной глади вод (про зеркальную гладь подруги сами придумали: вспомнилось что-то из школьных сочинений).

Все только лишь мечтали в этой Италии побывать, Анюте же одной и мечтать не надо, судьба обласкала, сама преподнесла на блюдечке: не бывай, а живи. Да еще зарабатывать, — жарко нашептывали, наставляли подруги, — обзаводись клиентами, заручайся рекомендациями, заводи знакомства. Дарио (все о нем у Анюты выведали), конечно, гусь лапчатый, с ожерельем на шее, университетский профессор. 1200 евро пообещал (а то и больше), но и помимо него есть гуси.

Словом, успевай, крутись, не теряйся. Заработанное же хочешь — трать (или по сребдобольности своей нищим раздай, если совсем уж дура), хочешь — копи. И не в кубышке, а в банке, под проценты, хоть и котом наплаканные, но надежные — не прогорят.

Если же пойдет большой фарт (тут подруги аж заходились), то можно и — замуж, под фату, обручальное кольцо на дрогнувшем пальце. У Анюты от этих слов палец и впрямь подрагивал. Знакомые девочки из Милана (они Анюте и обеспечили вызов) рассказывали: такое не раз бывало. И не с красавицами, дивами-Мальдивами, а со скромными, экономными, бережливými, без порочных склонностей и вредных привычек.

Впрочем, млели из подруг лишь верные, неверные же усмехались, плечами передергивали, презрительно фыркали: мол, везет только дурехам, отчего умнее они не становятся. Да и что за везение — старух в инвалидном кресле возить, на унитаза сажать и задницу им подтирать.

Анюта не знала, кого слушать. Конечно, хотелось, чтобы все было так, как живописали верные. Но ведь так же не бывает. Поэтому и к неверным прислушивалась, на их усмешках училась — осторожности, осмотрительности, недоверчивости, боязливости. Иными словами, тому, что распрекрасная Италия, райская обитель, может для русских

дур обернуться кутузкой или чем похуже, в кутузке же законы известные: не верь, не бойся, а если чего попросишь, то сама же и пожалеешь.

### III

От Флоренции Анята добиралась на пригородном поезде.

Чинно села у окна. Причесала гребешком белобрысую челку, чтобы скрыть маленький лоб (признак большого ума и беспросветной глупости). И долго озиралась — осматривалась, отворачиваясь и пряча глаза, стоило уколотся о чей-то встречный взгляд.

И если слишком долго смотрела налево, тотчас спохватывалась и делала вид, что смотрит направо. Или вообще ничего не делала и никуда не смотрела (лишь на кончики собственных пальцев), хотя при этом все замечала.

Удивилась, как чисто в вагоне и нехороших слов на стенках не нацарапано. Впрочем, удивилась скорее для порядка, порядок же тут везде. Публика воспитанная до приторности, вежливая, учтивая — некоторые даже книги читают, вот потеха, и не лень им возить с собой такую пудовую тяжесть, в карман не сунешь и на руках не удержишь.

Монашки толстозадые тыкают ухоженными пальчиками в свои мобилы и хрустят дорожным завтраком, обсыпая хлебными крошками рясы, уминают за обе щеки, запивают святой (наверное) водой.

Этак и она бы снова подалась в монастырь — на такой-то харч, и не кирпичи таскать, а ногти пилкой подравнивать.

У Аняты при виде монашек аж в животе подвело. Она воровато сглотнула слюну, но достать из чемодана кольцо краковской колбасы и надкусить не решилась, опасаясь, чтошибанет чесночным духом на весь вагон. Да и неловко — она же не толстогубая негритоска с кольцом в ноздре, не из диких пампасов. Ее родное Бирюлево хоть и не Италия, но зато и не Африка, где о краковской колбасе и слыхом не слыхивали.

В Москве Аняте написали русскими буквами, что и где сказать по-итальянски. Она со страху даже выучила наизусть и все ждала момента, чтобы применить свое знание, не оплошать и не провалиться. Наконец сказала, обернувшись к соседям, и умилилась, что сразу поняли.

Слава богу, остановку не пропустила: вовремя указали. Да и по-особому глянулся ей из окна маленький городок Ластра, где уже

все цвело, краснело, розовело, лиловело, сквозь изумрудную зелень желтели двухэтажные дома, возвышались башенки и внезапно взору открывались дворы с черно-белыми клетками света и тени, похожие на шахматные доски.

#### IV

Профессоре Дарио снизошел и уважил — сам встретил ее на вокзале, худой, сухощавый, с поседевшим барашком волос. Всплеснул руками, изображая радость: итальянцам положено проявлять экспансивность (сам же был грустным и чем-то удрученным). Остановил такси щелчком длинных пальцев над головой и сам уложил вещи в багажник (почему-то не сзади, а спереди).

Пока ехали — кружили по узким улочкам, едва не задевая сохнувшее на шестах белье, — профессоре весело смеялся (и все равно был грустный), целил куда-то пальцем, что-то показывал, объяснял, втолковывал, знакомил с достопримечательностями. Анюта не успевала за всем уследить (перед глазами мелькало и рябило), но марку держала — изображала понимание (воображение подсказывало, что, наверное, и его студенты так изображают, сидя перед ним на лекциях).

Оценив по достоинству ее старание, он опустил стекло в дверце, купил у торговки апельсин, очистил ножичком, придав коже сходство с распустившимися лепестками цветка, и преподнес ей. В награду.

Подкатили к дому — двухэтажному палаццо местной выделки: балконы, пристройки, башенки. Красота со следами увядания (осыпавшаяся штукатурка и грязно-желтый цвет). В соответствии с этой благородной архитектурой была и фраза, произнесенная Дарио по-русски почти без акцента (не посрамил кафедру славистики Флорентийского университета):

— Сейчас я введу тебя в наш дом и открою перед тобой все двери.

Он введет ее в дом. Шикарно! Анюта даже вся подобралась, сжалась, съежилась от робости и блаженства. Дарио покровительственным жестом предложил взять его под руку, отставив острый локоть, и они шагнули в бездну, в черный провал многосемейного дома, итальянского улья, где все смешано, ничего не разберешь, колготня, столпотворение, Ноев ковчег. В полутьме замелькали лица, наплывами слышались голоса, крики, взвизги, удушливый кашель,

звон посуды, и откуда-то — таким же наплывом — донеслось жалкое пиликанье скрипки.

Дарио прислушался и сказал:

— Это один русский играет, Лев Николаевич, бывший консерваторский профессор, из эмигрантов. Живет у нас много лет, одинокий, всеми забытый чудак. К нам иногда заходит. Может с тобой итальянским позаниматься, если захочешь.

Анюта ждала, что вот сейчас ее наконец всем представят, и готовилась делать реверансы, но Дарио, чем-то озабоченный (даже забыл про экспансивность), все повторял на ходу:

— Это не мы... это еще не мы... вот теперь направо... налево за перегородку... осторожно, не споткнись... снова направо. Теперь — мы!

## V

Дверь распахнулась, в лицо им ударил свет из большого окна, перед глазами заплясали слепящие круги. Анюта после темноты даже зажмурилась, а когда открыла глаза, ее взяла оторопь, и она остолбенела от ужаса. Прямо на них в инвалидном кресле катилась сизая старуха с пучком седых волос и, потрясая жилистым кулаком, с присвистом хрипела:

— Путана!

Это явно относилось к Анюте: старуха тыкала в нее пальцем с желтым утолщенным ногтем и привизгивала, словно разоблачить еще одну путану было для нее несказанным блаженством.

— Я путана? — обморочно спросила Анюта, глядя на Дарио.

— Ты, ты, ты! — захохотала старуха, выкатывая слезящиеся бирюзовые глаза. — Сама путана, и Россия твоя — путана! И Путин твой — путана! Тьфу!

Это было сказано по-итальянски, но Анюта все на редкость ясно поняла и сама была не рада этому, поскольку за непонимание можно спрятаться, а за понимание не спрячешься, и оно беспощадно выталкивает тебя — как будто голую — на всеобщее обозрение.

Анюта невольно спряталась за Дарио, словно это был единственный способ прикрыть свою наготу. Захотелось уткнуться ему в спину, разреветься, выплакаться, а затем все бросить и вернуться домой.

Догадываясь, как ей плохо, он принужденно улыбнулся и, наклонившись к ней, шепнул:

— Не обращай внимания. Бабушка у нас — буфф!

Анюта не расслышала, до конца не уловила смысла.

— Бабушка кто?

— Буфф! Буфф!

Для наглядности он стал гримасничать, как в цирке, кривить и растягивать рот, надувать щеки, поднимать левую и опускать правую бровь, чтобы один глаз был выше другого.

Анюта забыла про слезы и прыснула в кулачок.

— Цирк!

— Да, да, — подхватил он, — цирк! Парад-алле! Буффонада!

Старуха внезапно заснула, уронив голову на впалую грудь, и засопела.

— И вы ради нее меня пригласили? — Анюта понизила голос, чтобы не разбудить спящую.

— Да, это моя мама.

— И я должна за ней смотреть?

— Как мы условились...

— И каждый раз терпеть все это? — Анюта обрисовала руками круг, включающий в себя все, чем испытывалось ее терпение.

— Я же тебе писал, что мама со странностями. Но только лучше не терпеть, а отвечать тем же. Я как сын разрешаю. Она тебе: «Путана!» — и ты ей: «Путана!» Или что-то в этом роде. Тогда она успокоится. Сначала, конечно, возмутится, разозлится, разобидится, а потом успокоится и затихнет. Такой характер. Для нее главное — себя показать. Показать, что она еще из тех итальянок. Спуску никому не даст. Устроит представление. Весь вечер на манеже...

— Уф! Подарочек! — Анюта смахнула со лба челку, отдуваясь, словно ее прошибла испарина.

Дарио по-своему истолковал этот жест.

— Ты насчет денег? Я добавлю... со временем... — Дарио не уточнил, когда для него наступят лучшие времена. — Сейчас, знаешь ли, кризис... повышение цен, безработица, молодежь бастует. В моде самые радикальные лозунги. В университете всех сокращают, никому не платят. У меня отняли семинары по Льву Толстому. Говорят, кому сейчас нужен Лев Толстой. Я им на это: «Давайте ставить вопрос шире. Кому нужно все, чем мы жили, во что верили, чему поклонялись? Ответьте мне». Молчат.

— Вы женаты? — Анюта опустила глаза, то ли не придавая значения своему вопросу, то ли, напротив, придавая слишком большое значение.

— Был когда-то. Моя жена теперь далеко-далеко, в Абу-Даби. Замужем за банановым королем. И дети мечтают уехать туда же, под ее крылышко.

— Вам надо снова жениться. На русской. — Анюта постаралась произнести это серьезно, по-взрослому, а вышло совсем по-детски.

«Вот пискля-то!» — подумала она о себе. Кажется, и он подумал о ней то же самое. Во всяком случае, за нее слегка покраснел и сказал:

— Почему на русской? Ваша Россия сейчас — то же Абу-Даби. Вообще, моя милая, не давай мне советов. Тем более по матримониальной части. А то я чего доброго на тебе женюсь. Лучше расскажи о себе. Кто твои родители — отец, мать? Как их звали?

«Сказать ему про Бирюлевну, про ее дом с садом и погребом?» — мысленно спросила себя Анюта и решила в этот раз не говорить, а лучше подождать следующего раза, хотя этот вскоре забудется, следующий же вряд ли когда-нибудь наступит.

## VI

Перед узкой, словно однажды завалившейся набок и так и не выправившейся лестницей, ведущей наверх, Дарио остановился, словно лестница требовала от Анюты дополнительного внимания. Во всяком случае, взывала к тому, чтобы к ней присмотреться, прежде чем поставить ногу на ступеньку.

Анюта стала присматриваться, удивляясь ее необычному виду: лестница была причудливо раскрашена, разрисована какими-то столбами, похожими то ли на железнодорожные семафоры, то ли на виселицы, и обклеена рекламой погребальных услуг. Дарио выждал, пока у Анюты сложится о ней определенное впечатление. Затем он дирижерским жестом поднял руки, воздавая должное чьей-то неистощимой выдумке, достал очки, держа их на отдалении от глаз, чтобы они не исказили картины увиденного, и сказал:

— Там наверху комната сына. Наверняка, он тебя поджидает. Поднимайся одна. У нас с ним — никаких отношений.

— Из-за чего? — Дарио явно ждал, что она спросит об этом, и Анюта спросила.



В этот момент мигающая лампа, освещавшая лестницу, погасла, а затем снова вспыхнула. Для Дарио это стало невольным знаком, чтобы высказаться.

— Он стыдится, что я, видите ли, профессор, а не ниспровергатель устоев и не уличный вожак. Моя непростительная слабость в том, что я не плюю в лицо буржуазии, не молюсь на портрет Гарибальди и не конспектирую по ночам Ленина. — Дарио хотел еще что-то добавить, но счел, что объяснений пока хватит, и решил перейти к указаниям. — Тихонько постучись и войди. Если он снова... гм... повесился, присядь в сторонке и подожди, пока ему не надоест.

— Повесился? — Анюта не могла совместить значение этого слова с тем спокойствием, с каким он его произносит.

— Да, у него это хорошо получается. Прирожденный висельник. Талант. — Дарио с усталостью в голосе поведал о талантах прирожденного висельника.

— А может, мне не надо?.. Туда заходить?

— Без тебя не тот эффект. Ты новое лицо в доме — как не покрасоваться.

— Мне что-то не особо хочется.

— Увы, надо, хотя и не очень приятно. Надо познакомиться. Иначе будет смертельная обида. Тебя тоже зачислят в буржуазные вырожденки.

Анюта поднялась, стараясь не наступать на листки рекламы, украшающие ступени, и робко постучалась. Тотчас внутри что-то с грохотом рухнуло. Она толкнула плечом дверь, ворвалась и увидела на полу, в облаке пыли, чернявого, щупленького молодого гарибальдийца с задранными ногами и обрывком веревки на шее. Держась за ушибленный бок, он ругался, чертыхался и проклинал все на свете.

— Вам помочь? — Анюта склонилась над ним с состраданием.

Он смотрел на нее ровно столько, сколько требовалось, чтобы до него дошло, кто она и как здесь очутилась. После этого он отрывисто произнес (рявкнул) по-русски с тем же акцентом, что и Дарио:

— Не нуждаюсь. Какого черта! Вас послал ко мне мой почтенный родитель? Может, вы тут еще уборку затеете, как в лучших буржуазных домах? Не позволю! Так отцу и передайте.

— Сами ему скажите. Он там внизу...

— Наверное, наговорил вам про меня?

— Ничего он не наговаривал. Просто он страдает из-за ваших отношений. Вернее, из-за их отсутствия. Весь он какой-то поникший, жалкий, словно побитый...

— Ради бога, не давите на жалость. Пусть стоит там и сюда не заходит. Так вы из России? Несчастливая.

— Почему же?

— Все против вас, и я тоже, хотя раньше в нашей семье перед Россией преклонялись. Вы для нас были свет в окошке. Но затем вы обуржуазились и Ленина продали.

Анюта (она была туговата на ухо) не расслышала.

— Леннона?

— Вот балда. — Его развеселило, что можно спутать эти два имени, поэтому он решил добавить к ним третье имя. — Как зовут-то?

— Леннона? Джон...

— Вас, вас, а не Леннона. Кстати, никакой он не Леннон, а Ленин.

— Меня Анна.

— А, Анна Каренина. Будем знакомы. Я — Франциск Ассизский. — Он поднялся с пола и отряхнулся от пыли, чтобы иметь вид, соответствующий церемонии знакомства. Но затем, сочтя эту церемонию излишней, добавил: — Впрочем, вы не думайте, что вас здесь все так ждали. Вас пригласить — идея отца. Мы же все объявляем вам бойкот.

— Спасибо, — сказала Анюта: это было явно не к месту, но ничего лучшего она придумать не могла.

## VII

На другой лестнице, ведущей куда-то вбок, а затем на самую верхотуру, электрический свет вообще не горел, а дневной едва пробивался сквозь щели в досках. Дарио пришлось посветить фонариком, чтобы они смогли подняться — шажочками, — не оступиться и не поскользнуться (тем более что на ступенях было что-то разлито).

— ...Любит темноту и холод. Не разрешает зажигать свет и включать обогреватель. Имейте это в виду. Иначе будут истерики и скандалы.

— Учту. А вы о ком?

— О моей дочери Лауре, хотя я про себя зову ее Лиза — в честь Тургенева.

— А мне как ее звать?

— Никак. Используй безличные предложения. Это будет весьма кстати, поскольку она не хочет быть личностью. Не хочет, потому что ее со всеми ее достоинствами бросил муж, этот шалопай Маурицио, и она предпочитает остаться без достоинств. В университет не ходит, спит в верхней одежде и по утрам не причесывается. Так ей легче.

— Бедняжка.

Они остановились перед маленькой дверью со вздувшимся железным покрытием. Он погасил фонарик.

— Пожалуй, ты первая...

— Может, лучше вы?

— В меня она чем-нибудь швырнет, запустит книгой — почему-то непременно словарем, а словари у нас дорого стоят — жалко. — Дарио вздохнул, показывая, что хоть он и не словарь, себя ему жалко тоже.

Их нерешительность привела к тому, что дверь им открыли изнутри, причем открыли — распахнули — настежь. На пороге кто-то мелькнул, исчез, снова мелькнул и наконец возник во всей красе, с косичками во все стороны.

— Милости просим, гости дорогие. С вами мы, кажется, знакомы, — обратилась она к Дарио. — Вы случайно не мой отец? Я не ошиблась? Какая удача! А с вами очень рада, очень рада... — Она протянула Анюте маленькую ладонь. — Вы наша сиделка? Теперь вы будете у нас сидеть? Ха-ха-ха! Прекрасно! Лишь одно немного досадно, но что поделаешь: сиделки воруют. И честные, и нечестные, и скромные, и нескромные — один черт — воруют! — Она старалась удержать на лице сияющую улыбку, призванную внушить, что и все должны улыбаться в знак согласия с этими словами. — Поэтому, вы уж извините, я составила опись. Опись всех вещей, хранящихся в доме, — включая серебряные ложки, конечно. Ложки — в первую очередь.

— Ну, что ты плетешь, — сквозь зубы промычал Дарио, чем, однако, ее несколько не смутил.

— Показать? Желаете удостовериться? Вот... вот... — Она махнула в воздухе каким-то исчерканным листком. — Здесь все перечислено. Взгляни, папочка... И вы взгляните... Вы же сиделка, вам в первую очередь надо знать.

— Замолчи, — простонал он, заметив, что у Анюты после всех этих выпадов и наскоков от обиды прыгают губы.

— Хотите, чтобы я молчала, — заткните мне рот. Грязной тряпкой. У нас есть грязные тряпки? В Италии есть грязные тряпки? Тогда я замолчу. А пока не заткнули, буду говорить. Как ваше драгоценное имя? Надолго вы к нам? — Обращаясь к Анюте, она почему-то в упор смотрела на отца.

— Я... я... Я сегодня вечером уеду, — сказала Анюта, не столько отвечая на вопрос, сколько испытывая собственную решимость, толкавшую на то, чтобы все бросить и уехать.

— Ну, что ты!.. — Дарио обнял ее за плечи и притянул к себе. — Успокойся.

— Смотрите, как папочка вас любит. Как он вас любит! Может, у вас роман? Папочка на вас женится, и тогда вы станете нашей мамой. Ах, ах! Как трогательно! У нас с мужем тоже был роман. Мы обожали друг друга. Нас все считали идеальной парой.

Ни слова не произнося, Дарио вывел Анюту из комнаты, и они, путая ступени и спотыкаясь, стали спускаться по лестнице вниз. В самом низу Анюта, глядя в пол, чтобы не смотреть наверх, откуда они спустились, сказала:

— Как-то вы нехорошо живете.

— Да что там нехорошо — скверно. Да и не живем мы вовсе. Впрочем, это русский вопрос...

— Так нельзя... Надо все менять.

— Жизнь — не обстановка в доме. Ее так просто не поменяешь.

— Русский — не русский, а надо.

Сверху же все доносилось: «Как трогательно! Ах, ах!»

## VIII

Анюта Скобелева в сиделки попала случайно. Даже не то чтобы попала, как попадает шар в бильярдную лузу, а как бы волею случая приняла непривычное, не свойственное ей, неудобное положение и задержалась в этом положении, и оно оказалось таким удобным и привычным, что не захотелось его менять.

Иными словами, однажды ее попросили, и она согласилась, поскольку неловко было отказать. Отказать тем, к кому сама не раз обращалась за помощью, напоминала о себе, надоедала, и ей никогда не отказывали. Чем могли — помогали. Поэтому Анюта считала себя

обязанной выполнить ответную просьбу — посидеть со старушкой на даче, временно, пока хозяева не найдут ей постоянную замену.

Дачу хозяева не построили, а купили — она досталась им сразу, готовенькая, ухоженная, играющая разноцветными стеклышками в ромбовых переплетах веранды. Комнаты пахли смолой, застывшей в распилах бревен, и это чувство счастливого обретения нового убежища — гнезда — передалось и Анюте.

Раньше она на дачах не жила и даже не мечтала когда-нибудь пожить. А тут ее привезли, как барыню, и она благоговейно вступила под своды... Стояло дождливое, прелое и душное лето, погромыхивало где-то за горизонтом, в малине гудели шмели, падалицу яблонь уносили на своих иголках ежи, соседский кот от обжорства не лакал оставленное ему молоко, а играл с блюдцем, переворачивая его лапой.

Ее новое положение заключалось в том, чтобы ухаживать за бабушкой. Анюта ее поила из большой желтой чашки, кормила с ложечки, сажала в кресло или гамак, привязанный к березам, выводила под руку за калитку, читала вслух. Словом, заботилась и любила, хотя иногда покрикивала, если она капризничала, и грозила ей пальцем, как маленькой. Это приносило странное удовлетворение, и ей казалось (собственных детей она больше иметь не могла), что бабушка — ее большая дочка.

И было нестерпимо жалко, что эта дочка скоро умрет. И, по-видимому, это произойдет через год-два, а то и раньше, поскольку ночами она задыхалась, содрогалась от кашля, и на платке оставались капельки крови (приходилось ее успокаивать и внушать, что это остатки малинового киселя).

Поэтому главной своей обязанностью Анюта считала борьбу со смертью — с тем, чтобы ее не допустить, поставить ей заслон, отдалить. Пусть сверкает зарницами и погромыхивает где-то за горизонтом. Пусть, словно обожравшийся кот, играет лапой с блюдцем и уносит на своих иглах ненужную падалицу.

Потому-то Анюту так заботило, чтобы к бабушке хорошо относились, чтобы близкие ее любили: это было самое верное средство борьбы со смертью. Но этого не так легко было добиться. Хотя все в доме не уставали повторять, как они, конечно же, любят бабушку, и охотно это показывали, Анюта угадывала в этих заверениях частичку неправды, притворство, фальши. Бабушку они, может, и любили, но друг с другом

не ладили, враждовали, поэтому их любовь не могла быть истинной, настоящей.

Вот старания Анюты и сводились к тому, чтобы гасить затаившуюся вражду, не позволять ей снова вспыхнуть. И — всех мирить. Как это у нее получалось, для всех было загадкой, но получалось. Она к каждому находила свои подходы — незаметные, как тропинки в малиннике, и об Анюте говорили, что у нее золотой характер: «Голубушка, вы просто золото, наша спасительница. Бабушка без вас и месяца не прожила бы. Наша бабушка — мы ее так любим», — признавались они, не догадываясь, что любят бабушку потому, что Анюта их любит.

Замену искать не пришлось: Анюта осталась с бабушкой до самого конца. Полгода она прожила с ней на даче, а затем поселилась у хозяев в Москве. Ей выделили чуланчик без окон, но она не роптала, по-прежнему заботилась и любила, лишь бы отдалить неотвратимый конец.

Но конец все же наступил, смерть победила, и Анюта долго плакала над оставшимися от бабушки вещами, в чем-то себя упрекала, винила, раскаивалась. И все ее убеждали, что она ни в чем не виновата, что возраст есть возраст (все-таки бабушке было за восемьдесят), да и болела она последнее время тяжело.

После похорон Анюта собрала вещи, прибралась в чуланчике, заправила кровать и простилась с хозяевами. Поклонилась им в пояс и с каждым обнялась. Хозяева в ответ вздохнули, всплакнули и проводили ее до лифта. Казалось, эта страница (из книги, которую она читала бабушке) перевернута: сиделкой ей больше не бывать. Но тут внезапно заболел и слег глава покинутого ею семейства. Временами шумный, вздорный, заполошный, временами чопорный и педантичный, он поскользнулся на льду (застывший молочный кисель). При этом охнул, взмахнул руками (с одной руки слетела перчатка), упал и едва смог подняться. Ему помогли доковылять до дома. Перелом. Но и помимо обнаружили болезни, затаившиеся и ждавшие своего часа.

Анюту отыскиали, вызвонили и умолили срочно вернуться. Она стала выхаживать больного, поить, кормить с ложечки и при этом, хотя всегда его опасалась и недолго любила, — любить.

Он поправился (песнь торжествующей любви), но Анюту так просто не отпустили — из страха, что без нее еще кто-нибудь заболеет. Когда же этот мнительный страх потихоньку все же исчез, уступили ее близким

знакомым, которым позарез нужна была надежная и проверенная (не раз, а тысячу раз) сиделка. У тех ее переманили их знакомые, затем нашлись почти незнакомые, но настойчивые. Так замелькали страницы в книге ее жизни, и она поняла, что быть ей сиделкой всегда.

Девочки из Милана от кого-то о ней слышали, умилились ее бескорыстием, пригласили в винный подвал со сводами живописно-грубой кирпичной кладки, заказали нечто с вишенкой, льдом и соломинкой и на разные голоса исполнили свою торжествующую песнь. Песнь с повторяющимся куплетом «Как прекрасна Италия, и как нужны там сиделки из России!» Вправили ей мозги: бескорыстие тоже можно выгодно продать. Поклялись, что сделают вызов. Скромно попросили немного отстегнуть. И назвали срок: в марте солнышко над нею воссияет.

Так оно и вышло: в марте пришел вызов вместе со всеми нужными и ненужными (Дарио по этой части был на редкость бестолковым) бумагами. И Анята отправилась торговать своим бескорыстием, чтобы в конце концов отдать его за бесценок.

## IX

На следующее утро, едва она проснулась, внизу собирались завтракать, и, когда она спустилась, стали перед ней извиняться. Анята проснулась разбитая: сказывалось вчерашнее знакомство. Ее пригласили к столу.

— Я покажу тебе твою комнату.

Полюбить старуху Кармиллу было трудно: не давалась она, выскальзывала, увертывалась от любви. Ей гораздо больше нравилось безобразничать, мстить и враждовать.

После всех взбалмошных и нелепых выходок (выкрутасов) его домочадцев, устроивших Аняте венецианский карнавал — явление уродов и монстров, — Дарио с виноватым видом отвел гостью в ее чердачную опочивальню и оставил одну. Он очень боялся — после долгих поисков — ее лишиться и поэтому старался не раздражать своим присутствием, не надоедал с разговорами, чтобы не сказать лишнего и не дать повода выполнить запальчивую угрозу — все бросить, собраться и уехать. Анята была Дарио благодарна за такую деликатность, но

тоже испытывала вину из-за того, что так легко позволила ему уйти, не попросила с ней еще немного побыть, поговорить или помолчать, лишь бы не оставлять ее одну, со своими грустными мыслями.

Вот уж не ожидала, что ее так встретят, устроят ей эту буффонаду — и старуха Кармила, и Франциск, и Лиза. Конечно, и им самим не сладко, каждый по-своему несчастен, у каждого на душе свой тяжелый, заплесневелый, покрытый лишаями камень, но она-то ничем не заслужила, чтобы на ней срывать злость. Видно, тяжело ей придется здесь, в этом доме с башенками, балконами, длинными и мрачными коридорами. Тяжко и муторно — не то, что тогда на даче, с бабушкой, которую она полюбила, словно родную дочь.

Но что ж, и их придется полюбить — куда ж деваться, а ради этого сначала с ними помириться и простить их. А затем — помирить их друг с другом. Помочь им забыть накопившиеся обиды, недомолвки, взаимные упреки, ведь их несчастья — заплесневелые камни в душе — это недуг, который иначе, другими способами не лечится.

От этих мыслей Аня успокоилась и даже повеселела, позволила себе такую редкостную вольность (пакость?) — взять и повеселеть. Причем, повеселеть так, без особой причины, просто по некоему уговору — дипломатическому соглашению — с самой собой. Стороны приходят к соглашению и обязуются... Ах, какая огромная мартовская луна! И после дождя (а недавно был дождь) пахнет мокрой галькой, как тогда на даче. Что же они обязуются? Поддерживать в себе видимость веселья, хотя бы некоторое время, пока не вспомнится оставшаяся в Москве мать, прозванная Бирюлевна, поскольку она прожила в Бирюлеве всю жизнь (перебралась из домика с садом на верхотуру четырнадцатизэтажной башни). И эти воспоминания, как неродившиеся дети. Она думала, что теперь сразу рухнет и заснет, но вместо этого до самой темноты неподвижно просидела у окна. Огромная мартовская луна висела за облаками. Пахло тропической зеленью.

Утром к ней постучался Франциск и со льстивой угодливостью сказал, что завтрак готов и все ее ждут за столом. После вчерашнего он явно хотел понравиться. Затем постучалась Лиза и певучим голосом пропела то же самое, впрочем уверенная, что она первая. Наконец Дарио, тоже уверенный, слегка приоткрыл дверь и возвестил, что она приглашена на завтрак. Он и не знал, что его дважды опередили...

Это был обнадеживающий признак: ей явно старались сделать приятное. Аня спустилась вниз удивленная, даже слегка



заинтригованная. Со всеми поздоровалась и села на стул, отодвинутый от стола дальше других стульев, занимавший особое — почетное — место. Все молчали, наклонившись к тарелкам, — молчали так, словно им не хотелось говорить о постороннем, прежде чем они выскажут главное. Анюта первой не выдержала этого молчания и смущенно кашлянула. Это сочли за знак и разом заговорили, перебивая друг друга, лишь бы заручиться ее вниманием. Сначала Анюта поочередно всем улыбалась и в гуле голосов ничего не могла разобрать. А затем прислушалась, прониклась и уразумела, что у нее, оказывается, просят прощения. Да, просят прощения за вчерашнее, сожалеют о случившемся, раскаиваются и прочее, прочее. Как тут не растрогаться, и она, конечно, растрогалась.

— Ну, что вы! Что вы! Я вас уже простила, да и не за что прощать.

Тут все разом смолкли, а затем, словно спохватившись, стали наперебой предлагать ей:

- Вам налить кофе?
- Пожалуйста, апельсиновый джем.
- Положить вам пудинг?
- Вот масло в горшочке. У нас тут своя молочница.
- А как насчет бокала белого вина?

«Ну, вот и решилось. Теперь все будет хорошо», — подумала Анюта, не зная верить ли этому, а если не верить, то кому — себе, или им, или всем вместе.

## Х

Бокал вина Анюта храбро выпила, но с надеждой на то, что все станет лучше, жестоко обманулась. Стало лишь хуже, словно все старались выместить на ней то, что за завтраком рассыпались в любезностях, заискивали, каялись перед ней и просили у нее прощения. Совсем забыли про гордость, и вот гордость о себе напомнила. Франциск заперся и не пустил Анюту в комнату, когда она хотела просто смахнуть у него пыль и немного подмести (это входило в ее обязанности). Лиза ее словно не видела и не слышала, отстраненно глядя в пустоту, если Анюта была рядом.

Но особенно ополчилась против нее старуха Кармила, изводившая Анюту своей буффонадой. Анюта надрывалась, ворочала ее,

пересаживала с кровати в инвалидное кресло, а с кресла на унитаз, устроенный так, что вплотную к нему не подступишься, кресло не подвезешь. Поэтому приходилось волочить старуху по каменному полу, в ней же было весу под девяносто килограмм.

После сидения на унитазе Анята подтирала ей задницу и снова волочила от унитаза к креслу. И так по несколько раз в день, поскольку больничное судно Кармила отвергала, не позволяла подсунуть себе под зад, орала благим матом. Непроницаемые же для влаги, самые мягкие и удобные памперсы с себя срывала и отшвыривала — мочилась прямо в кровать. Анята ей все прощала, ни словом не упрекнула. Та же вместо благодарности за все мучения щипала ее, царапала и однажды укусила до крови. Анята взвыла от боли и затем долго стонала, прикладывая всякие примочки. Старуха же при этом отворачивалась и затыкала уши.

То же самое происходило, если Анята пыталась обратиться к ней по-русски, помогая себе жестами и выразительной мимикой. Старуха еще крепче затыкала уши и без умолку твердила своим каркающим, скрипучим голосом:

— Учи язык, учи язык, дура. Твой русский — это не язык. Учи итальянский.

Анята терпела, молчала, старалась не раздражаться и даже — по заведенному издавна правилу — любить свою обидчицу, какой бы противной, несносной та ни казалась. Но от этого ей становилось только хуже, и она готова была сорваться от отчаяния, накричать на старуху, затопать ногами и даже стукнуть ее по голове кулаком.

Чтобы этого не случилось, вырывалась из комнаты, прижималась спиной к двери и решала не двигаться с места, простоять так целую вечность, а потом умереть, исчезнуть из этого злого, жестокого мира. Но постепенно ее отпускало, она успокаивалась и думала о том, как ей и впрямь выучить этот итальянский, хотя бы самые нужные слова: есть, спать, доброе утро, спокойной ночи.

## XI

Так вспомнился ей однажды Лев Николаевич, пиликавший на скрипке где-то в глубине — недрах — большого дома. Анята разузнала, как его разыскать, и, когда выдалась минута, отправилась к нему.

Отправилась с отчаянным вызовом (вот я какая смелая), но по дороге засомневалась, струсилла, оробела; в душе, как маленькая мышка, шевельнулся и пискнул страх. Все-таки постучалась, бочком протиснулась в дверь и скороговоркой выпалила свою просьбу взлохмаченному старичку с ватой в ушах и множеством глубоких складок, возникавших по всему его большому лицу от малейшего движения подбородка, губ и бровей.

— Учить вас итальянскому? Извольте, но сначала следовало бы познакомиться. Вы, как я понимаю, прибыли ухаживать за старухой Кармиллой. Скверное создание, надо признать, я сам ее боюсь. Сколько было у нее сиделок — ни одна не выдержала. Позвольте же узнать ваше имя... — Он был опоясан шерстяным платком и держался за спину. — Вот постреливает, знаете ли, радикулит, а иной раз так схватит — хоть криком кричи.

— У меня есть одна мазь. Я привезла. Надо растереть поясницу.

— О, голубушка, еще не хватало, чтобы вы со мной возились. Этак мы всем домом сядем вам на шею. Так как же вас величают?

Услышав ее имя, он и сам представился, а затем сказал:

— Но учтите: я не просто Лев Николаевич. Само это имя среди музыкантов не редкость и часто встречается. Очень уж любили всякие там Николаи называть своих сыновей Львами, надеясь, что они унаследуют славу своего великого тезки. Но я Лев Николаевич в возрасте Толстого — это большая разница. Мне, голубушка, стукнуло ровнехонько восемьдесят два. Это на русского человека накладывает определенные обязательства. Приходится если и не быть мудрее, то хотя бы не совершать явных глупостей. И вообще меньше петься о всякой ерунде и думать о главном.

— Что же главное?

— А главное то, что у вас нос в зеленке. Наверное, бабулю свою пользовали и сами ненароком испачкались. — Он достал платок, чтобы устранить пятнышко с ее носа. — Шучу, шучу. Но о главном так просто не выскажешься. Иной раз лучше и промолчать. Однако раз уж вы спросили... Ну, наверное, главное — это Россия, которую сейчас все кланут и поносят. Вы сами-то из Москвы?

— Из Бирюлева.

— Знаю, знаю. У нашей семьи когда-то была дача в Чертанове. Это же близко от вас...

— Совсем рядом. А вы музыкант?

— Наверное, слышали мое жалкое пиликание? Я из тех музыкантов, которые сами не сыграют, но зато научат. Так вас итальянскому подучить, чтобы старуха не бранилась? Она ведь русский за язык не считает — да и не только она одна. Что ж, такая наша участь.

— Как вы верно сказали. — Анюта даже прослезилась оттого, что он нарисовал такую точную картину.

— Что, приходится вам ее тягать?

— Приходится. Еще как! Она меня пуганой обзывает.

— Фу! — Он поморщился, даже скривился от возмущения — так, что между подбородком и нижней губой образовалась складка. — Молоденькую девушку — пуганой. Это у итальянцев самое скверное ругательство. А вы не спускайте. Она: «Путана!» — и вы: «Путана!»

— Мне Дарио так и велит. Он меня защищает. Он добрый.

— Несчастный он, этот ваш Дарио.

— Почему мой?

— Ну, не ваш, а чей-то еще... Он всю жизнь мечтал быть не своим, а чьим-то, принадлежать кому-то другому, сначала жене, затем — детям.

— Все равно он не мой.

Он взглянул на нее и быстро отвел глаза.

— Но ведь вы его никому не отдадите.

Анюта не стала возражать на это, а спросила о другом:

— А почему он, по-вашему, несчастный?

— «Это русский вопрос». Вопросы-то он постиг, когда в России учился, а вот ответов на них не знает.

— А вы знаете?

— Когда достигнешь возраста Толстого, невольно начинаешь узнавать.

— И в чем же ваш ответ? На скрипке пиликать? — Анюта не смогла сдержатъ раздражения.

Он посмотрел на нее с откровенным интересом.

— Э, голубушка, вы своего Дарио в обиду не дадите. Вон как сразу коготки выпустили, — сказал он и тотчас словно забыл о сказанном. — Ответ в том, чтобы, как Толстой, осенней ночью... собраться и уйти.

— Куда?

— Если б я знал. Ну, наверное, странствовать. Искать смысл жизни. Проповедовать.

— И вы уйдете?

— Я не Толстой. Я лишь в возрасте Толстого. Не знаю. Посмотрим. Впрочем, если вы со мной решитесь, то, пожалуй, и уйду.

— Я?

— Шучу, шучу.

— Напрасно вы шутите. Я, может, уже решилась.

— Серьезно? — спросил он, ожидая от нее всего, кроме серьезности.

— Конечно, — заверила Аня и сочла нужным предупредить: — Только я легкомысленная и глупая. Путаю Ленина и Леннона.

Он немного поразмышлял над ее предупреждением, оценил его, взвесил, что позволило ему прийти к важному заключению:

— Это не страшно. Для начала приходите завтра на урок итальянского. Заодно и русский подучим.

## XII

Вернувшись к себе, Аня закрылась в комнате, села на краешек стула и стала думать, что ей теперь делать и как быть. Раньше Аня никогда об этом не думала — делала, и все, даже не она сама, а ее руки и ноги, приученные к привычной, каждодневной работе. Но теперь, после разговора с Львом Николаевичем, ей казалось, что одного этого недостаточно и, прежде чем делать, следует заручиться мыслью, способной управлять ее действиями.

Как хорошо иметь такую мысль, надежного учителя и советчика!

Но вот несчастье: единственно нужная ей мысль от нее ускользала, и тогда Аня пыталась учить себя сама — без всякой мысли, подчиняясь безрассудному стремлению кого-то наказать, кому-то отомстить, совершить вызывающе странный поступок. Взять и устроить им всем — старухе, Франциску, Лизе — буффонаду, венецианский карнавал. Опрокинуть стулья и столы, разбросать вещи, разорвать на клочки составленные описи и дотошные перечни ее обязанностей?

Нет, не годится: самой же придется потом все убирать.

Тогда смириться и терпеть, безропотно сносить все уколы, нападки, бойкоты. Тоже плохо. Так можно и себя потерять, превратиться в послушную заводную куклу.

Сбежать? Вернуться в Россию (недаром Лев Николаевич вместе с итальянским хотел подучить ее русскому)? Сколько раз собиралась и не смогла, да и теперь не сможет.

Тогда все бросить и уйти вместе со Львом Николаевичем. А беспомощная старуха? А Дарио, ведь он без нее пропадет?

Вот и получилось, что ее собственной блажи доверять нельзя, а надо подчиняться сложившимся привычкам — по-прежнему работать, кормить, как малое дитя, старуху Кармиллу, вытирать измазанный кашей рот, волочить ее с кресла на унитаза, вытирать ей задницу.

А еще засесть за итальянский, научиться хотя бы самым простым фразам. Пусть ее Бирюлевна на небесах за дочь порадуется. И ждать, когда пролетят годы и для нее наступит возраст Толстого: тогда, может быть, и явится — забрезжит сквозь тусклую пелену — ее единственная мысль.

## ЭПИЛОГ

Через четыре года Франциск и Лиза собрали вещи, простились с отцом и уехали к матери в Абу-Даби. Старуха Кармилла умерла ночью — в грозу — от удушья. Дарио женился на Анюте, чтобы отныне принадлежать ей, как он раньше принадлежал своим женам.

А Лев Николаевич однажды вышел из дома купить хлеба и не вернулся. Может быть, умер от сердечного приступа на автобусной остановке, а может, ушел. Во всяком случае, его так и не нашли. От него остались скрипка, четыре тома Толстого и перетянутая аптечной резинкой пачка фотографий (среди них — дача в Чертанове, на пригорке, под липами).

Ни в Ластре, ни во Флоренции никто его больше не видел.

